



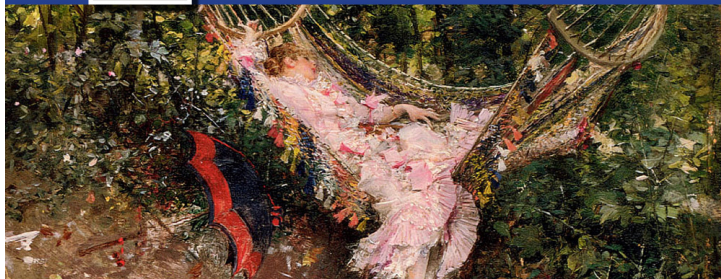
Марсель Пруст

Беглянка

Перевод с французского
Николая Любимова



ФТМ



Марсель Пруст

Беглянка

Серия «В поисках утраченного времени», книга 6

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=157852

Беглянка: ФТМ; Москва; 2018
ISBN 978-5-4467-2175-7

Аннотация

Марсель Пруст – один из крупнейших французских писателей, родоначальник современной психологической прозы. Самое значимое свое произведение, цикл романов «В поисках утраченного времени», писатель создавал в течение четырнадцати лет. Каждый роман цикла – и звено в цепи всего повествования, и самостоятельное произведение. Все семь книг объединены образом рассказчика, пробуждающегося среди ночи и предающегося воспоминаниям о своей жизни. Настоящее и прошлое, созерцание и воспоминание оказываются вне времени и объединяются в единую картину, закладывая основу нового типа романа – романа «потока сознания».

Шестой роман семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» вышел в свет через несколько лет

после смерти автора. Первое издание на основе рукописей было опубликовано под названием «Исчезнувшая Альбертина».

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

41

Марсель Пруст

Беглянка

«Мадмуазель Альбертина уехала!» Насколько страдание психологически сильнее, чем сама психология! Только что, осмысливая свое душевное состояние, я думал, что разлука без последнего свидания – это как раз то, о чем я мечтаю, я сопоставлял небольшие удовольствия, какие доставляла мне Альбертина, с богатой палитрой влечений, которым она препятствовала, и сознание, что она живет у меня, мое угнетенное состояние дало им возможность выдвинуться в моей душе на первый план, но при первом же известии об ее отъезде они не выдержали соперничества – мгновенно улетучились, я переломился, я пришел к выводу, что не хочу больше ее видеть, что я ее разлюбил. Но слова: «Мадмуазель Альбертина уехала» причинили мне жгучую боль, я чувствовал, что мне с ней не справиться, я должен был прекратить ее; испытывая такую же нежность к самому себе, какую испытывала моя мать к умирающей бабушке, я шептал себе слова утешения, какими успокаивают любимое существо: «Потерпи минутку – мы найдем тебе лекарство; не волнуйся – мы тебе поможем». Я смутно догадывался, что если прежде я относился к отъезду Альбертины безразлично, что он был мне далее приятен, то лишь потому, что я в него не верил; когда же это произошло, инстинкт самосохранения стал искать

простейшего болеутоляющего средства для моей открытой раны: «Это все пустяки, я мигом ее верну. Я все взвешу, но в любом случае вечером она будет здесь. Значит, и волноваться нечего». «Все это пустяки», – так я сказал не только себе, но и постарался, скрывая свои мучения, убедить в этом Франсуазу: даже когда я любил Альбертину безумной любовью, я все-таки заботился о том, чтобы моя любовь казалась другим счастливой, взаимной, особенно – Франсуазе, не жаловавшей Альбертину и сомневавшейся в ее искренности.

Да, незадолго до прихода Франсуазы я был уверен, что разлюбил Альбертину, я был уверен, что ничего не упустил из виду, я полагал, что изучил себя, как говорится, до тонкости. Но наш рассудок, каким бы ясным он ни был, не замечает частиц, из которых он состоит и о которых он даже не подозревает до тех пор, пока что-то их не разобьет и летучее состояние, в коем они, главным образом, пребывают, нечувствительно сменится застыванием. Я ошибочно полагал, что вижу себя насквозь. Однако внезапный приступ боли снабдил меня неумолимым, неопровержимым, необычным, как кристаллическая соль, знанием, которого мне не дал бы и самый тонкий ум. Я так привык к тому, что Альбертина тут, рядом, и вот, неожиданно – новая грань Привычного. До сих пор я видел в Альбертине разрушительную силу, подавляющую мою личность, подавляющую мое восприятие действительности; теперь же я видел в ней прочно прикованное ко мне странное божество с невыразительным лицом, до такой

степени отчетливо отпечатавшимся в моем сердце, что, если это божество от меня отделится, если это божество, которое я едва различаю, от меня отвернется, то это причинит мне невыносимую муку, а значит, оно жестоко, как смерть.

Мне хотелось как можно скорее ее вернуть, и я тут же начал читать ее письмо. Мне казалось, что это в моей власти: ведь будущее существует лишь в намерениях человека, и нам представляется, что их можно изменить *in extremis*¹ нашей воли. Но я не забывал и о влиянии других сил, с которыми, даже если бы в моем распоряжении было больше времени, я не мог бы ничего поделать. Что в том, что час еще не пробил, если мы бессильны что-либо изменить в грядущем? Когда Альбертина жила у меня, я решил сам пойти на разрыв с ней. И вот она уехала. Я распечатал конверт. Привожу ее письмо:

Друг мой! Простите, что я не осмелилась сказать Вам те несколько слов, которые Вы сейчас прочтете, но я такая трусиха, я всегда так перед Вами робела, что, как я себя ни заставляла, у меня все-таки не хватало решимости. Мне надо было бы сказать Вам вот что: наша совместная жизнь стала невозможной (кстати, на днях Ваша выходка показала, что в наших отношениях что-то изменилось). Что удалось нынче ночью уладить, то спустя несколько дней могло бы стать непоправимым. А потому, раз уж нам удалось помириться, давайте расстанемся добрыми друзьями; вот для чего, милый мой, я и пишу Вам эту записку:

¹ Последним усилием (лат.).

я прошу Вас не поминать меня лихом и простить меня, если я Вас огорчаю; поверьте: мне безумно жаль прошлого. Любимый мой! Я не хочу быть Вам в тягость, мне будет больно ощущать Ваше быстрое охлаждение: приняв окончательное решение, я, прежде чем передать Вам письмо, велю Франсуазе уложить мои вещи. Прощайте! Все лучшее, что есть во мне, я оставляю Вам.

Альбертина.

«Все это одни слова, – подумал я, – это даже лучше, чем я себе представлял, не обдумав хорошенько своего шага, она, очевидно, написала письмо с единственной целью – нанести мне сокрушительный удар, чтобы напугать меня. Надо как можно скорее найти способ вернуть Альбертину сегодня же. Противно, что Бонтаны так корыстолюбивы: пользуются племянницей, чтобы вымогать у меня деньги. Э, да не все ли равно! Если я ради того, чтобы немедленно вернуть Альбертину, отдам г-же Бонтан половину своего состояния, мы с Альбертиной все-таки проживем безбедно». Одновременно я соображал, успею ли я утром заказать яхту и роллс-ройс, о которых она мечтала; я ни секунды не колебался, мне в голову не приходила мысль, что дарить их ей безрассудно. Даже если согласия г-жи Бонтан окажется недостаточно, если Альбертина не пожелает подчиниться тетушке и поставит условием своего возвращения полную свободу – что ж, каких бы страданий это мне ни стоило, я предоставляю ей свободу: она будет уходить одна, когда захочет; надо уметь ид-

ти на жертвы, как бы ни были они мучительны, ради того, что вам всего дороже, самое же для меня дорогое, в чем бы я себя утром ни уверял, приводя неопровержимые и вместе с тем бессмысленные доводы, это чтобы Альбертина жила здесь. Надо ли говорить, какая мука была для меня – предоставлять ей свободу? Если бы я стал это отрицать, я бы лгал. Мне уже не раз пришлось испытать, что боль при мысли, что я предоставляю ей свободу изменять мне, была, пожалуй, не так сильна, как уныние, охватывавшее меня от сознания, что ей со мной скучно. Понятно, разрешить ей куда-нибудь съездить, если б она стала отпрашиваться и если б я знал наверное, что там будет оргия, – мысль об этом была бы для меня невыносимой. Другое дело – сказать ей: «Садитесь на пароход или в поезд, поезжайте на месяц в неведомую мне страну, только чтобы я ничего не знал, что вы будете там делать», – и мне часто приятно было думать, что вдали она отдала бы предпочтение жизни у меня и была бы счастлива по возвращении. Впрочем, она сама стремилась к тому же; она не требовала свободы, ограничений которой к тому же я сумел бы постепенно добиться, ежедневно предлагая ей все новые и новые развлечения. Альбертине хотелось только, чтобы я перестал ей надоедать, а главное, – как когда-то требовала от Свана Одетта, – чтобы я на ней женился. Выйдя замуж, она будет дорожить своей независимостью, мы останемся здесь вдвоем, мы будем так счастливы! Разумеется, это значило отказаться от Венеции. А насколько

самые желанные города и в еще большей степени, чем Венеция, — герцогиня Германтская, театр, покажутся бесцветными, безразличными, мертвыми, когда мы соединены с другим сердцем узами столь болезненными, что они никуда нас не отпускают! К тому же Альбертина в своем стремлении к браку была совершенно права. Даже моей маме все эти промедления казались смехотворными. Жениться — вот на что мне давно следовало пойти, вот на что мне было необходимо решиться; именно моя нерешительность заставила Альбертину написать письмо, хотя она сама ни одному слову из этого письма не верила. Чтобы добиться брака, она на несколько часов отказалась от исполнения и своего и моего желания: вернуться. Да, она хотела вернуться, для этого-то она и убежала, — говорил мне мой снисходительный разум, но когда я себя в этом убеждал, разум возвращался к иному предположению. Этому второму предположению не хватило смелости недвусмысленно сформулировать мысль, что Альбертина способна на связь с мадмуазель Вентейль и ее подругой. И все же, когда это ужасное предположение застало меня врасплох при входе в энкарвильский вокзал, подтвердилось именно оно. Я не мог себе представить, чтобы Альбертина сама решилась покинуть меня без предупреждения и не предоставив мне возможности удержать ее. И все-таки (после того, как жизнь только что заставила меня сделать новый огромный прыжок) реальность требовала признания, но она, эта реальность, была для меня так же непривычна, как та,

перед лицом которой мы оказываемся в результате открытия физика, дознания судебного следователя, находок историка, исследующих преступление или же революцию, и, разумеется, эта реальность брала верх над моим худосочным вторым предположением и вместе с тем подтверждала его. Второе предположение особым остроумием не отличалось, и панический страх, который охватил меня в тот вечер, когда Альбертина не поцеловала меня перед сном, и в ту ночь, когда я услышал стук оконной рамы, – этот страх был беспричинным. Однако на верность второго предположения указывало множество случаев, а дальнейшее явилось еще более мощным доказательством того, что разум – инструмент не самый тонкий, не самый сильный, не самый подходящий для постижения истины, из коей следует лишь вот что: начинать надо именно с разума, а не с интуиции, с подсознательного, а не с твердой веры в предчувствия. Именно жизнь мало-помалу, от случая к случаю убеждает нас, что самое важное для нашего сердца или ума мы постигаем не разумом, а при помощи других сил. И тогда разум, сознавая их превосходство, по зрелом размышлении, переходит на их сторону и соглашается стать их союзником, их слугой. Опыт веры. Непредвиденное несчастье, с которым я вступал в единоборство, тоже казалось мне (как и дружба Альбертины с двумя лесбиянками) уже знакомым, угаданным в стольких приметах, в которых (несмотря на противоположные доказательства моего разума, основанные на уверениях самой Альбертины) я раз-

личал утомление, страх, который владел ею, когда она жила со мной, как рабыня. Мне уже столько раз мерещилось, будто я читаю эти приметы, написанные незримыми чернилами, в грустных и покорных ее глазах, во внезапно вспыхивавшем румянце у нее на щеках, непонятно от чего алевших, в стуке оконной рамы, которая вдруг распахнулась! У меня не хватило духу проникнуть в их смысл и как можно скорее объяснить себе причину ее внезапного отъезда. Успокоив себя тем, что Альбертина здесь, я остановился на мысли, что отъезд подготовлен мной, а день еще не назначен, то есть существует как бы в несуществующем времени; у меня создалось неверное представление об отъезде Альбертины, как у людей, воображающих, будто они не боятся смерти, когда они думают о смерти, будучи здоровыми, и, в сущности, вводящих тяжелую мысль в доброе здоровье, ухудшающееся по мере приближения смерти. Мысль о добровольном отъезде Альбертины могла бы уже тысячу раз вырисоваться перед моим умственным взором ясно и отчетливо, но вот чего я уж никак не мог себе представить: как ее отъезд отразится на мне, что я восприму его как необыкновенное, страшное, непознаваемое, совершенно новое зло. Если б я предвидел ее отъезд, я был бы способен думать о нем беспрестанно в течение нескольких лет, и при сопоставлении оказалось бы, что мои мысли не имеют между собой ничего общего не только по силе, но и по сходству с тем невообразимым адом, краешек двери которого приотворила Франсуаза, возвестив:

«Мадмуазель Альбертина уехала». Чтобы представить себе незнакомую ситуацию, воображение пользуется знакомыми элементами и именно потому не представляет ее себе. Но на чувственные ощущения, даже в физическом смысле этого понятия, ложится подлинный и долго неизглаживающийся, подобно впечатлению от молнийного зигзага, отпечаток нового впечатления. И я все не решался сказать себе, что, если б я предвидел отъезд Альбертины, я, вероятно, был бы не способен представить себе весь его ужас и предотвратить его; даже если бы Альбертина объявила мне, что уезжает, я бы угрожал ей, умолял бы ее. Мне расхотелось бы ехать в Венецию. Так было со мной гораздо раньше в Комбре: мне хотелось познакомиться с герцогиней Германтской, но вот наступал час, когда я мечтал только об одном: чтобы ко мне в комнату пришла мама. Все тревоги, испытанные мной с детства, по зову новой тоски поспешили усилить ее, сплавиться в однородную массу, от которой мне становилось душно.

Разумеется, физического удара в сердце, который наносит такая разлука и который, в силу того, что тело обладает ужасной способностью сохранять рубец, наделяет страдание общей чертой всех мучительных мгновений нашей жизни, — я имею в виду удар, возможно, наносимый с умыслом (так мало нас трогает чужая боль!) той, кому хочется, чтобы причинил нам острейшую боль, — будь то женщина, делающая вид, что уезжает, для того, чтобы мы предоставили ей лучшие условия существования, будь то женщина, уезжающая навсе-

гда — навсегда! — чтобы отомстить за себя или чтобы остаться любимой, или (чтобы у нас сохранилась о ней светлая память) чтобы разом покончить со сплетением усталости и равнодушия, которые она ощутила, — такого удара мы даем себе слово избегать, мы говорим друг другу, что расстанемся друзьями. Но расстаться друзьями удастся чрезвычайно редко, потому что если с кем-то тебе хорошо, то, значит, и незачем расставаться. И вот что еще: женщина, к которой ты выказываешь полнейшее безразличие, тем не менее, смутно угадывает, что, устав от нее, ты, опять-таки по привычке, все сильнее привязываешься к ней, и она думает, что одно из важнейших условий расставания без ссоры — это уехать, предупредив. Но она боится, что если она предупредит, то отъезд не состоится. Женщина чувствует, что чем большую власть забирает она над мужчиной, то единственная возможность расстаться — убежать. Убежать — значит властвовать, это неоспоримо. Конечно, между скукой, которую мы только что испытывали в ее обществе, и, когда она уже уехала, неодолимой потребностью увидеть ее вновь существует целая пропасть. Но для отъезда есть все основания, помимо тех, которые я уже приводил, и тех, о которых будет сказано дальше. Прежде всего часто уезжают именно когда равнодушные — действительное или мнимое — достигает крайних пределов, находится на крайней точке колеблющегося маятника. Женщина уверяет себя: «Нет, так дальше продолжаться не может», — уверяет именно потому, что мужчина гово-

рит с ней только о разрыве или думает о нем; и она уходит. Тогда маятник достигает другой крайней точки – расстояние между двумя точками максимально. В течение одной секунды он возвращается на прежнее место; повторяю: вопреки всем доводам, это так естественно! Сердце колотится, а между тем уехавшая женщина – уже совсем не та, что была здесь. Ее жизнь рядом с нами, такая привычная, вдруг видится нам рядом с другими, с которыми она неизбежно соединится, и, вероятно, она и покинула-то нас для того, чтобы с ними соединиться. Таким образом, новая жизнь ушедшей женщины обогащает ее и, возможно, ради нее она от нас и уходит. Известные нам душевные движения, появлявшиеся у нее за время ее жизни с нами, явное для нее наше изнывание от скуки, ревность (в результате мужчин бросали женщины почти во всех случаях из-за их особенностей, которые можно пересчитать по пальцам: из-за их характера, из-за сходства в изъявлении преданности, из-за того, отчего они простужаются), – эти загадочные для нас душевные движения уживаются с душевными движениями, о которых мы не подозревали. Может быть, она с кем-нибудь переписывалась или общалась устно, через посланцев, с мужчиной или с женщиной, поджидала знака, который, возможно, мы, сами того не подозревая, ей подали, сообщая: «Г-н Х. приходил вчера ко мне», если она заранее условилась с г-ном Х., что накануне встречи с ним он зайдет ко мне. Какое широкое поле для догадок! Я так искусно восстанавливал правду (но

только в пределах возможности), что, вскрыв по ошибке выдержанное в соответствующем стиле письмо к моей любовнице, в котором говорилось: «Непременно жди знака, чтобы поехать к маркизу Сен-Лу, предупреди его завтра по телефону», я представлял себе нечто вроде плана побега; имя маркиза Сен-Лу значило в письме что-то совсем другое, так как моя любовница была незнакома с Сен-Лу, она только слышала о нем от меня, и, кстати, это скорее напоминало прозвище, не имеющее отношения к письму. Итак, письмо было адресовано не непосредственно моей любовнице, а кому-то еще в доме, чью фамилию трудно было разобрать. Письмо не заключало в себе условных знаков – просто оно было написано на плохом французском языке. Оно было от одной американки – *подруги* Сен-Лу: так он ее назвал. Странная манера выражаться, в какой были написаны некоторые письма американки, навели меня на мысль о прозвище, хотя на самом деле там указывалось настоящее имя, только иностранное. Итак, в этот день все мои подозрения оказались ложными. Однако у интеллектуальной основы, связывавшей все эти придуманные факты, была такая правильная форма, она была так неопровержимо правдива! Когда, три месяца спустя, моя любовница (в то время собиравшаяся прожить со мной всю жизнь) покинула меня, все произошло именно так, как я представил себе это впервые. Опять пришло письмо с теми же особенностями, которыми я ошибочно наделил первое письмо, но которые на сей раз имели смысл условного

знака и т. д.

Отъезд Альбертины был величайшим несчастьем моей жизни. И все же, несмотря ни на что, над душевною болью возобладало любопытство, мне не терпелось дознаться, что же вызвало побег: кого Альбертина предпочла, кого нашла. Но источники крупных событий подобны источникам больших рек: мы напрасно стали бы обозревать земную поверхность, мы бы их не нашли. Ведь Альбертина замыслила побег давно? Я умолчал о том (тогда я объяснял это ее кокетничаньем и дурным настроением, тем, что на языке Франсуазы называлось «дуться»), что с того вечера, когда Альбертина перестала меня целовать, на лице у нее появилось мрачное выражение, она стала держаться прямо, словно застыв, о самых простых вещах говорила с грустью, медленно двигалась, не улыбалась. Я не мог бы указать на ее связь с внешним миром. Сразу после побега Франсуаза рассказала, что, за день до ее отъезда войдя к ней в комнату, она никого там не обнаружила, шторы были задернуты, но запах и шум свидетельствовали, что окно растворено. Альбертина вышла на балкон. Но Франсуазе было не видно, с кем Альбертина могла бы оттуда разговаривать. То, что на распахнутом окне шторы были задернуты, объяснялось легко: я боялся сквозняков, и пусть шторы не укрыли бы меня от них, зато они не дали бы Франсуазе разглядеть из коридора, отчего так рано открыты ставни. Нет, подтверждало то, что Альбертина знала накануне о своем побеге, только одно незначительное со-

бытие. Накануне она вынесла из моей комнаты так, что я и не заметил, много оберточной бумаги и рогожи – в них она упаковывала всю ночь свои бесчисленные пенююары и халаты, чтобы утром уехать. Это единственный факт, других не было. Я не придаю значения тому, что она почти насильно вернула мне вечером тысячу франков, которые она была мне должна, – тут ничего особенного нет: в денежных вопросах она была крайне щепетильна.

Да, она взяла оберточную бумагу накануне, но об отъезде она знала раньше! Заставила ее уехать не тоска – она загрустила, приняв решение уехать, отказаться от жизни о которой она некогда мечтала. Печальна, холодна и надменна была она вплоть до последнего вечера, когда вдруг, задержавшись у меня дольше, чем ей хотелось, – что удивило меня в ней, не менявшей своих привычек – она сказала, стоя на пороге: «Прощай, малыш, прощай, малыш!» Но в тот момент это меня не насторожило. Франсуаза сказала, что наутро, когда, объявив о своем отъезде, Альбертина была так грустна, вся она была еще более напряженная и застывшая (но ведь в конце концов это можно было объяснить и усталостью, так как она, не раздеваясь, всю ночь упаковывала вещи, кроме тех, которых не было у нее в спальне и туалетной комнате и которые по ее просьбе должна была принести Франсуаза), чем последние дни, и когда она сказала: «Прощай, Франсуаза!» – той показалось, что Альбертина сейчас упадет. Когда об этом узнаёшь, то начинаешь понимать, что за женщину,

которая тебе нравилась значительно меньше тех, что встречаются на каждом шагу во время твоих самых обычных прогулок, и на которую ты сердишься за то, что приносишь их в жертву ради нее, ты все же отдал бы тысячу других. Дело в том, что отпадает различие между наслаждением, превратившимся, в силу привычки и, возможно, из-за бесчувственности объекта, почти в ничто, и другими наслаждениями, соблазнительными, восхитительными, между этими наслаждениями и чем-то значительно более сильным возникает жалость.

Пообещав себе, что Альбертина нынче же вечером будет со мной, я принял самое скорое успокоительное решение – вырвать из сердца ту, с кем жил до сих пор. Но, хотя инстинкт самосохранения подействовал во мне быстро, я все-таки, когда Франсуаза объявила мне об отъезде Альбертины, на одно мгновение почувствовал себя беспомощным, и теперь меня успокаивала уверенность, что Альбертина вечером будет здесь; боль, какую я ощутил в тот миг, когда еще не приучил себя к мысли об ее возвращении (миг, наступивший вслед за словами: «Мадмуазель Альбертина попросила собрать ее вещи, мадмуазель Альбертина уехала»), – эту боль я ощутил вновь: она была похожа на ту, какую я испытывал прежде, как будто я еще не верил в возвращение Альбертины. Она должна была вернуться сама. В любом случае заставлял ее сделать этот шаг, умолял ее вернуться значило действовать наперекор себе. У меня уже не было сил отка-

заться от нее, как отказался я от Жильберты. Даже больше, чем снова увидеть Альбертину, я стремился прекратить физическую боль моего изболевшегося сердца, — так не болело оно у меня никогда прежде, эту боль оно уже не могло выносить. И потом я так привык ничего не желать, будь то желание работать или еще какое-нибудь желание, что это поселило в моей душе робость. Но боль была сильнее по многим причинам, главной из которых являлась, вероятно, та, что я ни разу не испытал плотского наслаждения ни с герцогиней Германтской, ни с Жильбертой, а также то, что, не видя их ежедневно, ежечасно, не имея для этого возможности и, следовательно, потребности, я тем не менее чувствовал, что в моей любви к ним самое большое место занимает привычка. Быть может, теперь, когда мое сердце не тянулось к страданию, не хотело страдать добровольно, оно находило единственно возможное решение: возвращение Альбертины любой ценой, решение противоположное (добровольный отказ, все усиливающееся смирение) показалось бы мне маловероятной развязкой романа, если бы я сам однажды не пришел к такому решению с Жильбертой. Значит, мне было известно, что это другое решение может быть принято тем же самым человеком: ведь в главном я оставался все тем же. Сыграло свою роль только время, состарившее меня, то самое время, в течение которого Альбертина всегда находилась рядом со мной, пока жизнь шла обычным своим чередом. Но, не порывая с Альбертиной, я хотел сохранить то, что у ме-

ня оставалось, когда я порывал с Жильбертой: самолюбие, нежелание, умоляя Альбертину вернуться, быть в ее руках пешкой; мне хотелось, чтобы она возвратилась, не предполагая, что я этого хочу. Чтобы не терять времени, я попытался встать с постели, но меня удержала боль: впервые я вставал с постели после ее отъезда. И все-таки мне нужно было поскорее одеться, чтобы пойти справиться об Альбертине у ее консьержки.

Боль от удара, полученного извне, стремится изменить форму; мы надеемся рассеять мрак, строя планы, наводя справки; мы добиваемся того, чтобы благодаря многочисленным метаморфозам она преобразовалась, — это требует от нас меньше мужества, чем если бы страдание не менялось; ложе, которое мы разделяем со своей скорбью, кажется таким узким, таким жестким, таким холодным!

Итак, я встал; я передвигался по комнате крайне осторожно, я вставал так, чтобы не замечать ни стула Альбертины, ни фортепьяно, педали которого она нажимала своими золотыми туфельками, ни одного из тех предметов, которые были ей нужны и которые, говоря на особом языке моих воспоминаний, казалось, хотели перевести на особый язык ее отъезд, создать другой его вариант. Но и не глядя на них, я их видел; силы оставили меня, я рухнул в голубое атласное кресло, — отлив этого атласа час назад в полумраке комнаты, озаряемом единственным лучом света, навевал мне страстные мечты, столь далекие от меня сейчас. Я не садился в кресла до

этой минуты, то есть пока Альбертина была еще здесь. Я не усидел — я встал; так ежеминутно возникало какое-нибудь из бесчисленных маленьких «я», из которых мы состоим, — «я», еще не знавших об отъезде Альбертины и ждавших уведомления о нем; мне предстояло, — и это было куда больнее, если б это были чужие «я» и не обладали бы моей привычкой к страданиям, — объявить о только что случившемся несчастье всем этим существам, всем этим «я», еще не знавшим о нем; надо было, чтобы каждое существо услышало впервые эти слова: «Альбертина попросила вынести ее чемоданы» (я видел, как грузили эти чемоданы, своей формой напоминавшие гробы, в Бальбеке, вместе с чемоданами моей матери), «Альбертина уехала». Каждое существо я должен был обучить своей восприимчивости, причем она вовсе не является пессимистическим выводом, сделанным просто из рокового стечения обстоятельств, но неточным и невольным восстановлением особого впечатления, которое мы получили извне и не по нашему выбору. Были среди моих «я» такие, которых я не видел очень давно. Например (я не подумал, что нынче день стрижки), то «я», каким я был, когда ходил подстригать волосы. Я забыл об этом «я», при его появлении я разрыдался, как рыдают на похоронах при появлении старого уволенного слуги, который знал умершую. Потом вдруг вспомнил, что уже целую неделю на меня временами нападал панический страх, но только я себе в этом не признавался. Я рассуждал так: «Ведь правда же, странно предполагать, что она

уехала внезапно? Это было бы нелепо. Если бы я поручил ее заботам человека рассудительного, умного (я бы, если б не ревность, так бы и поступил), он наверняка сказал бы мне: «Да вы с ума сошли! Этого не может быть. (И правда: мы ни разу не поссорились.) Обычно уезжают, потому что для этого есть повод, и поводе вас извещают. Вам предоставляют право возразить. Ведь не уезжают же вот так. Нет, это чепуха.

Это единственное, но безрассудное предположение». Но я видел ее здесь каждое утро; стоило мне позвонить, и у меня вырывался глубокий вздох облегчения. Когда же Франсуаза передала мне письмо Альбертины, я уверил себя, что речь в письме идет о чем-то таком, чего не может быть, об отъезде, отчасти предугаданном мной за несколько дней, несмотря на доводы логики, успокаивавшей меня. Я был почти доволен своей проницательностью отчаяния – так убийца хоть и уверен, что его не смогут уличить, а все-таки боится, и вдруг видит имя своей жертвы на обложке досье у следователя, который его вызвал...

Я надеялся только на то, что Альбертина уехала в Турень к тетке, – там она, под присмотром, ничего особенного натворить не может, а потом я ее увезу. Больше всего я боялся, что она из Парижа поедет в Амстердам, в Монжувен, куда угодно, – я думал лишь о таких местах, куда она, вернее всего, могла бы уехать; когда же консьержка сказала, что Альбертина уехала в Турень, в место, о котором я мог только мечтать, оно показалось мне самым страшным, потому

что это было реальное место, и тут впервые, мучимый определенностью настоящего и зыбкостью будущего, я представил себе Альбертину, начавшую жить той жизнью, какая ее пленяла, разлучившуюся со мной, вероятно, надолго, скорее всего, навсегда, жизнью, когда ей представится возможность осуществить то неведомое мне, которое прежде так часто меня волновало, несмотря на то, что я имел счастье ласкать ее внешнюю оболочку, ласкать ее нежное лицо с непроницаемым выражением, лицо, которое я залучил к себе². Это неизвестное служило фоном моей любви. А сама Альбертина жила во мне своим именем, за исключением редких передышек во сне не исчезавшем из моего сознания. Стоило мне вспомнить ее имя, и я повторял его без конца, моя речь стала бы столь же монотонна, так же однообразна, как если бы я превратился в птицу, вроде птицы из басни, птицу, повторяющую имя той, которую герой басни любил. Мы повторяем имя, а когда умолкаем, то кажется, будто записываем его в себе, будто оно оставляет в мозгу след, будто мозг в конце

² Около двери Альбертины я увидел маленькую бедную девочку, смотревшую на меня огромными глазами; она была так мила, что я спросил, не хочет ли она пойти ко мне – так я позвал бы собаку с преданными глазами. Девочка обрадовалась. В комнате я покачал ее на коленях, но вскоре ее присутствие, подчеркивавшее отсутствие Альбертины, стало для меня невыносимым. Я дал ей пять франков и попросил уйти. Но немного погодя мысль, что здесь будет жить другая девочка, что я не останусь один, без помощи невинного существа, превратилась в единственную мою мечту, и вот эта мечта помогла мне пережить разлуку с Альбертиной. (Здесь и далее вынесены позднейшие вставки Пруста в текст романа. – *Ред.*)

концов превращается в стену, которую кто-то шутя всю исписал именем нашей возлюбленной. Мы все время пишем это имя в своих мыслях, пока мы счастливы, и еще чаще, когда мы несчастны. И, повторяя это имя, больше не сообщаящее того, что нам уже известно, мы испытываем беспрестанно возрождающуюся потребность, от которой в конце концов устаем. Я не думал о чувственном наслаждении; перед моим умственным взором даже не возникал образ Альбертины из-за потрясения всего моего существа, я не видел перед собой ее тела; если бы я захотел отделить идею, — идея присутствует во всем, — от моего страдания, то это было бы — поочередно — размышление, в каком настроении она уехала, вместе с мыслью, — а иной раз и без нее, — о ее возвращении, и размышление о том, как именно она вернется. Быть может, есть что-то символическое и соответствующее действительности в том, что сама женщина, из-за которой мы волнуемся, занимает, так мало места в наших волнениях. Даже ее личность не имеет большого значения; на первом месте — эмоциональные процессы, огорчения, какие она доставила нам, и какие привычки связаны с ней. Убедительное тому доказательство (еще более убедительное, чем скука, охватывающая нас, когда мы счастливы) заключается в том, что видеть или не видеть эту женщину, быть ею ценимым или нет, владеть ею или не владеть, — все это покажется нам чем-то совершенно безразличным; нам уже не нужно будет ставить перед собой эту проблему (до такой степени ненужную, что

нам просто не к чему будет перед собой ее ставить), мы забудем о чувствах и переживаниях, связанных с ней, потому что вызвала их другая. Прежде, когда мы страдали из-за нее, мы полагали, что наше счастье зависит от ее личности, но оно зависело от умирения нашей тревоги. Таким образом, наше подсознание было прозорливее нас, ибо благодаря ему лицо любимой женщины становилось для нас незначительным, быть может, мы о нем даже просто забывали, мы плохо его знали и находили заурадным – и это в те страшные мгновенья, когда наша жизнь зависела от того, найдем мы ее или не найдем, ждать нам ее или уже не ждать. Женское личико – это логичное и необходимое средство развития любви, явственно видимый символ субъективной ее природы.

Хитроумие, какое проявила Альбертина при отъезде, напоминало хитроумие народов, которые, чтобы обеспечить успех своему войску, прибегают к искусству дипломатии. По-видимому, Альбертина уехала только для того, чтобы добиться от меня лучших условий существования, большей свободы, большей роскоши. В этом случае победил бы я, если б у меня хватило сил выждать, дожидаться того момента, когда, видя, что ничего не добьется, она вернулась бы сама. Но если в планах военных действий, – на войне важно одно: одолеть врага, – можно хитрить, то в любви и в ревности, не говоря уже о страдании, условия совсем иные. Если для того, чтобы промучить Альбертину, ради того, чтобы «довести ее до томления», я позволил бы ей оставаться вдали от меня

несколько дней, а то и недель, я поставил бы крест на том, к чему я стремился больше года: не оставлять ее свободной ни единого часа. Все принятые мною меры предосторожности оказались бы бесполезными, если бы я дал ей время, если бы я предоставил ей возможность обманывать меня, сколько ей заблагорассудится, и если бы в конце концов она сдалась, я не мог бы забыть время, когда она была одна, и, даже победив ее, все-таки в прошлом, то есть непоправимо, побежденным был бы я.

Что касается способов возвращения Альбертины, то у них было настолько же больше шансов на успех, насколько предположение, что она уехала бы в надежде, что ее позовут, предлагая лучшие условия, показалось бы более правдоподобным. Люди, не верившие в искренность Альбертины, — вне всякого сомнения, Франсуаза, — так именно и предполагали. Но моему разуму, для которого единственное объяснение дурного расположения духа Альбертины, ее поведения заключалось в том, — это еще до того, как я что-то узнал, — что она составила план отъезда, было трудно поверить, что теперь, когда она уже уехала, это всего лишь притворство. Я говорю от имени своего разума, а не от себя. Мысль о притворстве становилась для меня тем более необходимой, чем менее была она вероятной, и выигрывала в силе, проигрывая в правдоподобии. Когда стоишь на самом краю пропасти и кажется, что Бог от тебя отступился, то уже не ждешь от

Него чуда³.

Едва мне удалось убедить себя, что, как бы я ни поступил, Альбертина вечером вернется, мне стало не так больно, как в ту минуту, когда Франсуаза сказала, что Альбертина уехала (тогда это было для меня полной неожиданностью, и я решил, что Альбертина уехала от меня навсегда). Некоторое время спустя боль, отпустив, вновь дала о себе знать; она была столь же мучительна, так как возникла раньше, чем утешительное обещание, которое я сам себе дал, вернуть Аль-

³ Я признаю, что в этом деле я был самым бездейственным, хотя и наиболее сильно переживающим полицейским. Бегство Альбертины не прибавило мне качеств, которых меня лишила привычка следить за ней. Я думал об одном: поручить поиски кому-нибудь другому. Быть этим другим согласился Сен-Лу. Я столько дней не находил себе места, а теперь переложил все заботы на другого, выиграл духом и захлопотал, уверенный в успехе, руки у меня опять стали сухими, а не влажными, как при звуках голоса Франсуазы: «Мадмуазель Альбертина уехала». Помнится, когда я решил жить с Альбертиной и даже на ней жениться, то это было лишь для того, чтобы удержать ее, чтобы знать, чем она занята, воспрепятствовать ей возобновить отношения с мадемуазель Вентейль. Это было во время ее ужасных признаний в Бальбеке. Она делала признания, словно речь идет о вещах самых обыкновенных, когда мне удалось – хотя это оказалось самым большим горем в моей жизни – осилить то, что до той поры мне и в самом страшном сне не могло бы присниться. (Удивительно, что ревности, тратящей время на пустяковые предположения об обмане, не хватает воображения, чтобы познать истину.) Тем не менее любовь, возникшая, главным образом, из необходимости отвести Альбертину от зла, впоследствии сохранила следы своего происхождения. Быть с Альбертиной значило для меня очень мало, так мало, что мне ничего не стоило помешать беглянке куда-нибудь пойти. Я доверился глазам, ходившим вместе с ней, лишь бы вечером они давали мне отчет, ясный и убедительный, – тогда моя тревога рассеивалась и ко мне возвращалось прекрасное настроение.

бертину. Утешений я не находил. Единственный способ вернуть ее в очередной раз никогда не был особенно плодотворным; просто с тех пор, как я полюбил Альбертину, я неизменно уверял себя, что я ее не люблю, не страдаю от ее отъезда, я ей лгал. Чтобы вернуть ее, я мог бы действовать решительно, делая вид, что сам от нее отказался. Я надумал написать Альбертине прощальное письмо, в котором буду писать об ее отъезде как об отъезде окончательном, а тем временем пошлю Сен-Лу к г-же Бонтан с целью оказания на нее, якобы без моего ведома, самого грубого давления, чтобы Альбертина елико возможно скорее вернулась. Я уже испытал с Жильбертой опасность, какую таят в себе письма, написанные поначалу с притворным равнодушием, в конце концов переходившим в неподдельное. Этот опыт должен был бы помешать мне писать Альбертине такие же письма, как Жильберте. Но опыт есть не что иное, как открытие для нас самих одной из черт нашего характера, которая проступает произвольно и тем резче, что однажды мы уже проявили ее для себя таким образом, что произвольное побуждение, которому мы повиновались впервые, еще усиливается благодаря советам памяти. Плагиат, которому труднее всего противостоять, для отдельных индивидуумов (и даже для целых народов, упорствующих в своих заблуждениях и продолжающих усугублять их), — это самоплагиат.

Я знал, что Сен-Лу сейчас в Париже; он тут же примчался ко мне, расторопный и услужливый, как когда-то в Дон-

сьере, и согласился незамедлительно отправиться в Турень. Я предложил ему такой план: он должен выйти в Шательро, спросить, где проживает г-жа Бонтан, и дожидаться, когда Альбертина выйдет из дома на улицу – ведь она могла узнать его. «Стало быть, меня эта девушка знает?» – спросил Сен-Лу. Я ответил, что, по-моему, нет. Обдумав это предприятие, я возликовал. Однако оно находилось в кричащем противоречии с тем, на что я решился в самом начале: все устроить так, чтобы нельзя было заподозрить, будто я разыскиваю Альбертину, а ведь это неминуемо бросилось бы в глаза. Но у нее перед тем, что «должно было бы произойти», было огромное преимущество: она предоставляла мне возможность предполагать, что мой посланец может ее вернуть. И если бы я мог читать в своем сердце, то именно это скрытое во мраке решение, которое я считал недостойным, но которое я мог предвидеть с самого начала, взяло бы верх над решением терпеть, – ведь я же принял его из-за отсутствия воли. Сен-Лу был и так уже несколько удивлен, что какая-то девушка прожила у меня всю зиму, я же ни одним намеком не дал ему это понять, зато он часто рассказывал мне о девушке из Бальбека, а я ни разу не сказал: «Да она живет у меня», и он мог быть задет моей неоткровенностью. Правда, г-жа Бонтан, быть может, расскажет ему о Бальбеке. Но я с таким нетерпением ждал его отъезда, что мне было не до размышлений о возможных последствиях этого путешествия. А насчет того, что он узнает Альбертину (на которую он, кстати

сказать, систематически избегал смотреть, когда встречался с ней в Донсьере), то, по общему мнению, она так изменилась и располнела, что это было маловероятно. Он спросил, нет ли у меня портрета Альбертины. Я сначала сказал, что нет, чтобы он не мог по моей фотографии, сделанной приблизительно во времена Бальбека, узнать Альбертину, которую он мельком видел в вагоне. Но я тут же себе возразил, что на последней фотографии она ничуть не похожа на Альбертину из Бальбека, как и на Альбертину теперешнюю, живую, и что он не узнает ее и на фотографии, и при встрече. Пока я искал в альбоме фотографическую карточку, он ласково гладил меня по лбу – как бы утешая. Меня тронуло его сочувствие. Ему не нужно было расставаться с Рахилью. То, что он тогда испытал, было еще сравнительно недавно, так что он не мог не проникнуться ко мне симпатией, не почувствовать особой жалости к подобного рода страданиям, так же как вы ощущаете особую близость к человеку, у которого та же болезнь, что и у вас. Да и потом он так меня любил, что самая мысль о моих мучениях была ему невыносима. И он испытывал к той, что мне их причинила, злобу, смешанную с восхищением. Он воображал, что я – существо высшего порядка, и раз я подчиняюсь другому существу, значит, это существо тоже совершенно необыкновенное. Я был уверен, что Альбертина на фотографии ему понравится, но так как я все же был далек от мысли, что она произведет на него такое же впечатление, как Елена на троянских старцев, то, продолжая

докапываться до истины, с небрежным видом говорил: «Понимаешь, ты ничего особенного не жди. Снимок плохой, да и в ней самой нет ничего поразительного, она не Бог вещь какая красавица, просто очень мила!» – «Да нет же, она наверно обворожительна! – сказал он с искренним и наивным воодушевлением, пытаясь представить себе существо, которое могло довести меня до отчаяния и так меня взволновать. – Я на нее злюсь за то, что она сделала тебе больно. Но ведь можно предположить, что такая, до кончиков ногтей, художественная натура, как ты, во всем любящая красоту, да еще такой любовью, как ты, – ты был самой судьбой предназначен для более сильных страданий, чем кто-либо другой, при встрече с красотой в женщине». Наконец я нашел фотографию. «Она бесспорно обворожительна», – сказал Робер, не видя, что я протягиваю ему карточку. Потом он ее разглядел, подержал в руках. Его лицо выражало тупое изумление. «Вот эту девушку ты любишь?» – проговорил он в конце концов таким тоном, в котором удивление было смягчено боязнью меня рассердить. Он не сделал никакого замечания, он принял задумчивый, настороженный вид, отчасти снисходительный, какой принимают, входя к больному, пусть бы до этого он был человеком замечательным и близким вашим другом, но теперь он ни то, ни другое – он стал буйным помешанным, и он рассказывает вам о явившемся ему небожителе, продолжающем ему являться там, где вы, человек здоровый, не видите ничего, кроме круглого столика на одной ножке. Я

сразу понял удивление Робера и то, что я точно так же изумился, когда увидел его возлюбленную, с тою лишь разницей, что узнал в ней женщину, с которой прежде был знаком, тогда как он полагал, что никогда не видел Альбертину. Но, конечно, мы смотрели на одну и ту же девушку совершенно по-разному. Давно миновало то время, когда в Бальбеке я начал постепенно прибавлять при взгляде на Альбертину ощущения вкуса, запаха, осязания. С той поры к прежним ощущениям прибавились ощущения более глубокие, более нежные, трудно поддающиеся определению, а потом и болезненные. Короче говоря, Альбертина являлась подобно камню, вокруг которого намело снегу, беспрестанно воспроизводящим центром сооружения, все возвышавшегося по замыслу моего сердца. Робер не различал этого напластования ощущений – он улавливал лишь осадок, который Альбертина, напротив, скрывала от меня. Когда Робер увидел фотографию Альбертины, его вывело из равновесия не внезапное потрясение троянских старцев, воскликнувших при виде проходившей Елены:

Целителен единый взгляд ее⁴,

а совсем иное чувство, говорившее: «Как! Из-за нее он мог так портить себе кровь, так страдать, наделать столько глупостей». Надо сознаться, что такое впечатление от лица,

⁴ Здесь и далее перевод стихов Ю. М. Денисова.

из-за которого вынесено столько мук, которое перевернуло человеку жизнь, а иногда даже является причиной смерти любимого существа, наблюдается неизмеримо чаще, чем впечатление, которое встреча произвела на троянских старцев, словом, более обыкновенное. Происходит это не только оттого, что любовь индивидуальна, и не потому, что когда мы ее не испытываем, смотреть на нее как на неизбежность и философствовать о сумасшествии других вполне естественно. Нет, дело в том, что если безумная любовь причиняет боль, то сцепление ощущений, порождаемых обликом женщины в глазах влюбленного, — этот огромный болезненный шар, обволакивающий лицо и скрывающий его так же, как снежный покров скрывает фонтан, — удаляется от точки, на которой останавливаются взгляды влюбленного и где сходятся его наслаждения и страдания, хотя бы она была уже так далека от точки, где это же самое видно другим, подобно тому как солнце удалено от того места, где сгусток света делает его для нас заметным в небе. А кроме того, под хризалидой страдания и ласки, застилающей для влюбленного худшие превращения любимого лица, лицо успевает состариться и измениться. Таким образом, если лицо, которое влюбленный видел впервые, очень не похоже на то, какое он видит с тех пор, как любит и страдает, значит, он находится так же далеко от лица, которое может видеть равнодушный зритель. (Что было бы, если бы вместо фотографии девушки Робер увидел фотографию старухи?) Чтобы прийти в изумле-

ние, нам даже не нужно видеть впервые ту, что явилась причиной стольких крушений. Зачастую мы ее знаем не лучше, чем мой двоюродный дед Адольф знал Одетту. В этом случае различие точек зрения распространяется не только на внешний вид, но и на характер, но и на значительность личности. В жизни часто бывает, что женщина, из-за которой страдает тот, кто ее любит, неизменно добра с тем, кто не обращает на нее внимания: так Одетта, жестоко обходившаяся со Сваном, была предупредительной «дамой в розовом» с моим двоюродным дедом Адольфом. Или же существо, каждый поступок которого продуман заранее, и которое внушает такой же страх, с каким ждут решение божества, тому, кто его любит, может показаться лицом заурядным, слишком счастливым, оттого что, как думает человек, который эту женщину не любит, она вольна делать все, что ей заблагорассудится, – так я относился к любовнице Сен-Лу, которую воспринимал только как: «Если господин захочет Рахиль», и которую мне столько раз предлагали. Я вспоминал, как впервые увидел ее с Сен-Лу, вспоминал свое изумление при мысли, что можно мучиться из-за незнания, чем такая женщина была занята в тот или иной вечер, не шепнула ли она кому-нибудь что-нибудь на ушко, почему она решила порвать отношения. Я сознавал, что все мое прошлое и Альбертина, к которой я мучительно стремился всеми фибрами души, всем своим существом, должны казаться Сен-Лу в такой же степени незначительными; быть может, и мне Альбертина од-

нажды станет так же безразлична; быть может, я мало-помалу перейду, проникшись мыслью о незначительности или же, напротив, важности прошлого Альбертины, от того состояния духа, в каком я пребывал, к тому, в каком находил-ся Сен-Лу, – ведь я же не создавал себе иллюзий по поводу того, что мог думать Сен-Лу, все, кто угодно, кроме возлюбленного Альбертины. И я не очень от этого страдал. Оставим хорошеньких женщин в удел мужчинам без воображения. Я вспоминал трагическую попытку понять столько жизней, каковой является гениальный, но не похожий портрет Одетты, написанный Эльстиром, – он представляет собой не столько портрет возлюбленной, сколько искаженное изображение любви. В нем только один недостаток, и это недостаток столько других портретов: он принадлежит кисти великого художника и в то же время влюбленного (поговаривали, будто Эльстир был любовником Одетты). Несходство оправдывает вся жизнь влюбленного, влюбленного, безумство которого никто не понимает, вся жизнь, скажем, Свана. Но когда возлюбленный становится еще и художником, как Эльстир, то вот вам и разгадка: у вас перед глазами губы, на которые человек обыкновенный никогда не обращал внимания, нос, о котором никто ничего не мог бы сказать, походка, которую никто не замечал. Портрет говорил: «Я любил, я страдал, я всем этим без конца любовался». Ретроспективно пытаюсь приписать Рахили все, что прежде приписывал ей Сен-Лу, я старался освободиться от того, что сердцем и ра-

зумом привносил в образ Альбертины, и представить ее себе такой, какой она должна была казаться Сен-Лу, а мне – Рахиль. Впрочем, все это не имеет значения. Сами-то мы верили в эти различия, даже когда мы их замечаем? Если раньше, в Бальбеке, Альбертина ждала меня под аркадами Энкарвиля, а затем прыгала ко мне в авто, она тогда еще не только не «расплылась», но вследствие чрезмерных упражнений истончилась; она похудела, отвратительная шляпа уродовала ее, из-под шляпы выглядывал только кончик безобразного носа, белые щеки в профиль напоминали белых червей; от прежней Альбертины почти ничего не осталось, однако на большее я и не претендовал: в то мгновение, когда она прыгала в авто, я чувствовал, что это она, что она не опоздала на свидание и не пошла куда-нибудь еще, а больше мне ничего и не надо было; то, что любят, слишком крепко связано с прошлым, слишком много заключается во времени, потерянном вместе, чтобы мужчине нужна была вся женщина: мужчина хочет быть уверен в одном – что это она, не обознаться, а это гораздо важнее, чем красота для любящих; щеки могут впасть, тело – похудеть, даже на взгляд тех, кто вначале кичился своей властью над красотой этой мордашки, над этой неизменной, отличительной чертой женщины, ее личности, ее алгебраическим корнем, ее константой – этого довольно, чтобы у мужчины, которого ждут большие дела, но который влюбился, не оставалось ни одного свободного вечера, потому что он проводил время, причесывая любимую женщину

и портя ей прическу вплоть до той минуты, когда пора ложиться в постель, или же остается у нее, лишь бы побыть с ней, или же чтобы она была с ним, или просто-напросто – чтобы она не была с другим.

«Ты уверен, – спросил Сен-Лу, – что я мог бы предложить этой женщине, за здорово живешь, тридцать тысяч франков для комиссии, от которой зависит, пройдет кандидатура ее мужа или не пройдет? Неужели она до такой степени бесчестна? Ну, тогда, значит, ты не ошибешься, если скажешь, что трех тысяч франков довольно». – «Нет, прошу тебя: не экономь на том, что так дорого твоему сердцу. Ты должен сказать вот что, и в конце концов, в этом есть доля истины: «Мой друг попросил тридцать тысяч франков у родственника для избирательной комиссии, от которой зависит, пройдет или не пройдет кандидатура дяди его невесты. Только ради помолвки эти деньги ему и дали. Чтобы Альбертина об этом не знала, передать их тебе попросили меня. Да к тому же, как слышно, Альбертина с тобой порывает. Он ума не приложит, что ему делать. Не женись он на Альбертине, ему придется вернуть тридцать тысяч франков. А в случае женьитьбы ей, хотя бы для проформы, надо немедленно возвращаться, потому что если побег продлится, то это произведет на всех крайне невыгодное впечатление». Ну как, ловко придумано?» – «Да нет», – отвечал мне Сен-Лу по своей доброте, по своей душевной мягкости, а еще вот почему: Сен-Лу не знал, что обстоятельства часто бывают гораздо более

странными, чем принято думать.

В конце концов в этой истории с тридцатью тысячами франков не было ничего невероятного: как я и говорил Сен-Лу, здесь скрывалась большая доля истины. Подобного рода история представлялась возможной, но все в ней было не так, и эта доля истины была как раз ложь. И все же мы друг другу продолжали лгать, Робер и я, как во время любого разговора, когда один приятель искренне хочет помочь другому, находящемуся во власти безнадежной любви. Друг советует, поддерживает, утешает, он способен пожалеть несчастного, но он не способен почувствовать несчастье, и чем ближе друг, тем больше он лжет. А другой признается, в какой помощи он нуждается, но и только, тщательно скрывая все остальное. Однако счастлив все же тот, кто берет на себя все тяготы, кто разъезжает, кто выполняет поручение, но не страдает. Я был сейчас тем, кем Робер был в Донсьере и думал, что Рахиль его бросила. «Ну, уж как хочешь. Если меня публично оскорбят, я готов вынести это ради тебя. И потом, хотя в этой шитой белыми нитками сделке есть, по-моему, что-то глупое, но ведь я же отлично знаю, что в нашем мире существуют герцогини, да к тому же еще святоши из святош, которые ради тридцати тысяч франков пойдут на нечто худшее, чем сказать племяннице, чтобы она не задерживалась в Турени. Словом, я вдвойне рад оказать тебе услугу, потому что мне необходимо с тобой встречаться. Если я женюсь, — добавил он, — разве мы не будем видеться еще чаще, разве

мой дом не станет отчасти твоим?...» Он осекся, очевидно подумав, что если я и женюсь, то Альбертина не сможет стать для его жены близкой подругой. И тут я вспомнил, что говорили мне Говожо о его предполагаемой женитьбе на дочери герцога Германтского.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.